



«ДУРАЦКИЙ ВЕК»

Какими только эпитетами и названиями не наделен наш двадцатый век! Век атома, космоса, кибернетики, бионики, цветного телевидения и даже век собраний и разводов. Но почему-то мы забываем об одном, на мой взгляд, самом верном — «дурацкий». В самом деле, когда еще, в кои веки люди, живя, казалось бы, друг для друга, не находили времени для встреч, чтобы просто посидеть, побеседовать, никуда не спеша. Все некогда. Все куда-то торопимся.

Правда, в этом самом веке случаются и у нас отдушины, позволяющие встретиться с человеком, поболтать вдоволь (не нервничая, как в кабинете, когда нахальный телефонный звонок то и дело врывается в разговор). Отдушин не так уж много, но они бывают. Далеко от дома, в уютной или неуютной гостинице, рядом с тобой окажется интересный собеседник, хороший человек, именуемый соседом по койке. Вылет самолета задерживается, и ты с интересным человеком коротаешь тягучее время, которое накрепко остается в памяти в первую очередь потому, что ты встретил нового человека, ставшего для тебя каким-то откровением. И только после таких встреч, кажется, был бы ты обкраден, не будь их. Как часто остаешься благодарен судьбе и случаю, что именно в этот час закрылся аэропорт, что после долгих мытарств ты попал именно в эту гостиницу, а не в другую.

И я думаю, что был бы обкраден в жизни, если бы в гостинице «Пекин» моим соседом по койке не оказался именно Анатолий Павлович. Случай и судьба в образе администратора гостиницы просто сочли логичным разместить двух камчадалов в одном номере. С Анатолием Павловичем мы никогда до этого не были знакомы, хотя не один год жили на полуострове в одном и том же городе. Сосед мой был сухощавый, с большими карими глазами и седыми волосами, с огромными залысинами, делавшими его коричневым лоб, что называется, светлым. Виделись мы довольно редко. Я приходил поздно, когда

он спал, а утром, когда я нежился еще в постели, в комнате уже мерно гудела его электробритва.

— Судя по бритвенному прибору в ванной, — сказал он, — вы бреетесь безопаской. Что это, консерватизм?

— Нет, почему? Просто привычка.

— Ну, это одно и то же, — сказал он, обдавая лицо одеколоном. — Скажите, вы по утрам пьете вино?

— Вино? — с удивлением переспросил я и, не дожидаясь ответа, продолжал: — У меня работа такая, что по утрам нельзя. И потом я по долгу службы должен вести антиалкогольную пропаганду. Так что с утра не пью.

— А вот мне хочется именно сейчас. Может, оттого, что я вообще-то человек не пьющий и не знаю, какое время суток наиболее подходящее, но сейчас невероятно хочется. Мне даже кажется, что вино изобрели только для сегодняшнего утра и только для меня. Давайте так. Вы оденетесь, а я сбегая в буфет. Сегодня же вы не на работе и агитировать некого.

— Ну, зачем вы? — попытался возразить я. — Я моложе. Сам сбегая.

Анатолий Павлович настоял на своем. И когда, наскоро поскребя бороду, я вышел из ванной, на столе уже красовалась бутылка красного вина и стандартная буфетная закуска — кусок жирной колбасы и холодная котлета.

Я налил по полстакана вина и посмотрел на моего соседа, уже немолодого, но по-юношески возбужденного, с горящими, как у влюбленного юнца, глазами. Мы пили терпкое вино и холодной котлете предпочитали сигарету.

— Всю жизнь, выходит, я обманывал себя, — начал многозначительно Анатолий Павлович, — и мне сейчас хочется избавиться от этого груза, решив для начала открыться первому встречному. Да, был бы на вашем месте кто-либо другой, я все равно открылся бы и ему.

Сослуживцы считают меня человеком скрытным. А почему я скрытный, никто из них этого не знает. Да и зачем? Если человек такой и не другой, значит, есть свои причины, и никому до этого нет дела. У каждого бывает в жизни такой день, о котором принято говорить: «Один прекрасный день», — когда он весь меняется — меняется его характер, выработанный годами, его отношение к людям, к себе, к жизни, к женщине. Я не обобщаю. Я говорю о себе, о своей жизни, о женщине, которую знал очень молодым.

В юности был я человеком неорганизованным и зlostным курильщиком. Бывало, куплю коробок десять спичек, и через

два дня дома хоть шаром покати, все куда-то растерялись. Тогда я стал прятать их по углам, куда сам черт не залезет. И был спокоен. Не боялся черного дня. Как припрет, полезу в угол, крохтя, пошарю и найду огня.

Вот так однажды я запрятал в груди женщину, надеясь, что когда-нибудь настанет день — отпущу ее. Восемнадцать лет прошло с тех пор, когда она ушла к другому. Не зря говорят, что мужья узнают последними. Для меня это было как снег на голову, я даже не успел как следует попереживать. Наверное, всегда так: ты любишь вроде бы навеки и, кажется, что тебя тоже любят так. Расстались мы, как бы вам это сказать, бодро. Это уже проявление внутренней мужской гордости, когда искусственно рисуешься беспечным, безразличным, а у самого на душе кошки скребут. Никто не знал и не должен был знать о моем горе — это тоже от гордости.

Французы говорят: ищите женщину. Правда, они по другому поводу так говорят, но эта формула верна. И я искал. Искал слепым. Женился так стремительно, что не успел подумать о самообмане, о том, что обманываю себя, новую жену, всех, жизнь. А жизнь шла. Повела меня какая-то неведомая сила, не давала опомниться. А потом толкала неведомая инерция. Пошли дети, прибавилось забот. Вроде бы все стало на свое место. Бывали даже целые годы, когда ни разу не вспоминал ее. Но это только так казалось. Червь точил постоянно. Никак не расстаться с мыслью, что тебя обманули. Мало ли кто нас обманывает — и друзья, и недруги, и женщины. Но обманула любовь, обманулся в любви. Давно поседел, дети скоро в институт пойдут, а все нейдет, все ношу камень за пазухой. Мстить хочется. И мечь какая-то особая, жалкая. Мечтаешь стать директором крупного предприятия, и, непременно, чтобы она об этом узнала. Не успев закончить диссертацию, уже ходишь в академиках. Кем только я не был в мечтах. Наверное, не был лишь космонавтом, и то потому, что здоровьем не вышел, да и специальность не подходит.

Словом, мечты все какие-то болезненные, как у героев Достоевского. И все это оттого, что я не мог ее забыть, хотел возрождения, признания. Хотя сам прекрасно знал, что все конечно, что сам не прошу. Не прошу на людях, не прошу для нее, а для себя уже давно простил.

Я понятия не имел, где она, что с ней, как у нее там все сложилось. Старался всего этого не знать. И вдруг два года назад получаю письмо. Я замуровал в сердце память о ней, и мне так

было легче жить. Но тут получил легонький, полосатый как шлагбаум конверт со знакомым до боли почерком и понял, что память о ней давно вышла из плена груди. Спустя восемнадцать лет ко мне пришла ее частица, ее мысли, ее рука. Я читал, не вникая в смысл слов. Письмо я хранил в столе, у себя в кабинете. Я читал его несколько раз в день. Всякий раз, когда я оставался один, устраивался поудобнее за столом, закуривая, и снова начинал читать, делая все новые и новые открытия.

Жизнь у нее с новым мужем не получилась. Она родила сына уже после того, как разошлись. Все эти годы она жила только мыслями обо мне. Не давала о себе знать, потому что не хотела причинять боль. Я места себе не находил. Радовался всему: пурге, которая вызывает у меня приступ астмы, телевизионным передачам, которые я считаю опиумом. У меня было такое чувство, будто я школьник: получил записку от девчонки, которую хватал за косички потому, что тайно от мальчишек влюблен в нее.

Читаю ее исповедь, самобичевание, а мне слова все кажутся праздником. Читаю и убеждаюсь сам, что ничего-то у меня не было замуровано в сердце. Все было открыто, все было видно и слышно. Я просто закрывал глаза и уши. Понял, что никогда не носил в груди сразу двоих, что никогда не любил свою жену. Ведь если по-честному, и диссертацию защитил потому, что жену не любил. Кончается рабочий день, и тошно становится. Куда угодно, только не домой. До водки я не охоч был. Дети уже подросли. Вот я и сидел в своем кабинете порой до ночи. Удлинил рабочий день. Написал диссертацию.

Мной были довольны и на работе и дома. Никто не видел фальши. А у самого где-то внутри все бунтовало. Презирал людей, хвастающихся очередными победами на любовном фронте, и презирал потому, что завидовал их беспечности, той легкости, с которой они крутили шашни, а сам, старый дурак, оставался верным обманутой любви. Презирал жену за то, что она не видела мою неприязнь, считая, что, мол, у меня такой характер, и всё тут. Презирал себя за притворство, за маску, которую никак не мог стащить с лица. Словом, жил по инерции.

Камень был брошен, и ничто не могло его вернуть с полята. Из кувшина можно пить только то, что туда налито. Я жил той жизнью, которую сделал, создал сам. Она мне была чужда, но я иначе не мог. Ложь мая гордость. Положение. То самое положение мещанина, дающее нам в обществе определенное спокойствие. Чего уж скрывать, ведь это так. Ведь в этом са-

мом мешанском спокойствии и зарыта инерция, толкающая нас, но, к сожалению, не вперед. Больше всего я боялся, что кто-нибудь узнает мою тайну. Мужчины в глазах мужчин всегда выглядят жалкими, когда раскрываются подобные вещи. А я еще с детства не переносил насмешек мальчишек. Боялся, что буду унижен перед мужчинами, которые, на мой взгляд, больше и яростнее, чем бабы, любят поковыряться в чужом белье.

Письмо мне принесло одновременно и успокоение и тревогу. На душе стало легче оттого, что она есть, она та же, и стало тревожно от желания ответить на терзающий вопрос: а что же делать дальше? Твердо знал, что возврата к старому нет, и все же написал ей письмо.

Сердце диктует одно, а рука пишет другое. Рука норовит, чтоб все было по логике. Она пишет, что совершена не глупость, ибо это слишком невинное слово, и вещи надо называть своими именами. Она, рука, пишет, что ты поступила как подлая тварь, что не было бы этого письма-излияния, если бы твой новый муж оказался достойным твоей любви. Ты обо мне вспомнила только потому, что он оказался не таким, каким ты хотела его видеть. А если бы оказался таким? Словом, все в таком духе. Логика вперемежку с мужицкой демагогией.

Она ответила сразу. Написала, что ни к чему этот суровый реализм. Все это знает без меня. Стыдиться ей не за что. В конце концов, она поступила тогда так, потому что верила, что так будет честнее. Читая ее письмо, я понял, что именно так я оправдывал ее сам все эти годы. Она пишет, что я ее не так понял, что она, слава Богу, никаких иллюзий не строит. Ничего ей от меня не нужно. Жизнь с ней расплатилась сполна. А письмо написала, потому что молчать уже нельзя. Молчать глупо. Наступает такое время, когда явно ощущаешь, что жизнь проходит. Время это у нее наступило, и она не хочет молчать. Человек, которого любят, должен знать об этом.

И вот я здесь, в Москве. Нахожусь в командировке, и никто из сослуживцев не знает, почему мне вдруг понадобилась эта командировка. Правда, сейчас мне на все наплевать. Пусть хоть весь мир знает. Сегодня мы с ней встретимся. Она приезжает из Ленинграда, и мы с ней встретимся. Она права. Она очень права. Молчать нельзя. Человек, которого любишь, должен знать об этом.

На столе стояла пустая бутылка, нетронутая холодная закуска и полная окурков пепельница. Сосед мой стал одеваться.

Строгий темно-коричневый костюм сидел на нем хорошо. Мой собеседник выглядел намного моложе своих лет.

— Вам бы какой-нибудь значок на лацкан или платок в карман, — сказал я.

— Значка вот нету...

Я снял с лацкана своего пиджака малюсенький значок «Долина гейзеров» и прикрепил к его костюму.

— Вот теперь другое дело.

— Ну, я пошел.

— Ни пуха...

— К черту! — Он широко улыбнулся, прищулив свои искрящиеся глаза.

Я никогда не заглядывал в замочные скважины, не читал чужих писем, обходил на улице целующихся влюбленных. Но тут так захотелось увидеть миг встречи людей, увидеть их вместе. Мне казалось, что я буду сам счастлив от сопричастности к их счастью. Сосед мой в этот день не вернулся. Не было его и утром следующего дня, а к вечеру я сам уехал из гостиницы. Улетел на Камчатку.

...Недавно служебные дела привели меня в один кабинет. В глубоком кресле за невысоким полированным столом, на котором ничего не было, кроме батареи авторучек, сидел довольно пожилой человек в отлично сшитом темно-коричневом костюме. На левом лацкане его блестел маленький значок «Долина гейзеров».

— Батюшки! — вырвалось у меня, хотя я никогда не произношу этого слова вслух. — Анатолий Павлович, вы ли это?

Хозяин кабинета поднял голову, пристально посмотрел на меня, сдвинув брови. Мне показалось, что он испугался меня. Он молча продолжал смотреть на меня. На его бледном помятом лице с красными опухшими глазами не дрогнул ни один мускул. От холода взгляда я осекся и, поумерив свой пыл, уже спокойным тоном продолжал:

— Не узнаете? А помните...

— Помню, конечно, помню, — он соорудил какое-то подобие улыбки и, чуть вздохнув, добавил: — И бритву вашу помню, и значок, вон видите, ношу, не снимаю до сих пор...

Зазвонил телефон. Я подумал о «дурацком» веке. Анатолий Павлович взял трубку, устроился поудобнее, свободной рукой показал мне на стул и стал слушать. Только иногда он произносил короткие «да», «нет», «хорошо». Не успел он положить трубку, как дверь открылась и вошла молоденькая девушка,

— Анатолий Павлович, — сказала она, стоя у дверей, — возьмите черный телефон, междугородний, вы заказывали.

Как и в первый раз, он слушал молча, вставляя иногда все те же привычные слова. Потом вдруг преобразился. Лицо у него вытянулось, он стал перебрасывать трубку с руки на руку.

— Вы меня слышите? Без меня ничего не предпринимайте, я сам прилечу, и там, на месте, посмотрим.

Я ничего не понимал, но, судя по тому, как возбужденно говорил Анатолий Павлович, можно было догадаться, что случилось какое-то ЧП.

В кабинет вошли двое, одетые, как инкубаторские. В одинаковые куртки. С одним из них я был знаком.

— А ты что здесь делаешь? — с удивлением спросил он, завидя меня.

— Да так, дела, — сказал я, показывая на свою папку, и добавил, уже обращаясь к хозяину кабинета: — Анатолий Павлович, найду в другой раз, дело у меня неспешное, тем более что вы, насколько я понял, завтра улетаете.

— Как улетаете? — вмешался в разговор мой знакомый. — Один там шею сломал, так вам мало?

— Вот чтобы больше никто ничего не ломал и чтобы больше не наломали дров, я и вылетаю.

Я попрощался и вышел из кабинета. Снова подумал о веке. «Никакой он не дурацкий», — вслух произнес я на улице.

Сегодня утром развернул газету, и меня будто обдало кипятком. С маленькой фотографии в черной рамке смотрело знакомое лицо с седой головой и высокими залысинами. Слева на лацканах темного пиджака крохотное светлое пятнышко. Группа товарищей, перечисляя заслуги покойного, извещала о его трагической гибели. Я долго смотрел на умное лицо, на большие темные глаза, на белое пятнышко слева на лацкане и подумал, что снимок сделан недавно, после той встречи, о которой мне ничего не известно и уже никогда не будет известно.

Осталась только память о нашем случайном знакомстве. Остались только письма. Ее письма... Подумав неожиданно о письмах, я вдруг вздрогнул. Мысли лихорадочно забегали, обгоняя одна другую. Я накинул пальто и выбежал на улицу. Запыхавшись, ворвался в знакомый кабинет. В глубоком кресле сидел мой приятель, но уже без куртки. Он устроился как хозяин.

— Послушай, там в столе есть письма, дай их мне, — выпалил я.

— Какие письма? — удивился он.

— Письма. Обыкновенные письма из Ленинграда.

Он нагнулся, открыл стол, пошарил немного и вскоре достал два надорванных конверта.

— Ну и что? — спросил он.

— Дай мне.

— Так ведь тут написано «Анатолию Павловичу». Нет, нет, я их передам семье покойного.

— Да пойми ты, черт возьми, мертвые писем не читают, а эти письма никто не должен читать. Я их пошлю в Ленинград, пошлю вместе с сегодняшней газетой. Так надо.

— Ты ненормальный, — сказал он, протягивая мне два конверта с полосатыми как шлагбаум каймами. — Ну, ты хоть скажи...

В это время зазвонил телефон. Я облегченно вздохнул. Поблагодарил про себя «дурацкий век» и, оставив нового хозяина кабинета один на один с телефоном, выскочил на улицу.

Я думал о ней. О женщине, которую никогда не видел, но, казалось, знаю давно. Мне было тяжело отправлять ей ее же письма, отправлять газету с черной рамкой. Я бы не хотел быть первым, кто сообщит ей траурную весть. Но больше некому. И так надо. Человек, которого любили, должен знать все.